**РАСКОЛ**

**Книга огня**

*Фрагменты*

Книга Елены Крюковой читается в эти дни с особенной интонацией: знак раскола ещё недавно единой цивилизации пылает сегодня над землями Украины.

Речь не идёт о том, что думать и веровать все должны одинаково, а лишь о том, что ни в разности мировоззрений, ни в пылкости их нельзя переходить огненной границы, за которой начинается братоубийство. Сама идея его порождает не просто раскол, а затяжную длительность действительных и не отменимых последствий, живую историческую рану.

«Раскол» с его задыхающейся и сбоящей речью – и о нас, и про нас. С мятежа духа человеческого начинается всякое грехопадение, но также твердо знаем и иное – Господь не расположен к тем, в ком нет пламени, к тем, чей дух ослаб и колеблется между добром и злом, не желая ничего выбирать. К таким возмездие приходит первым, но как же тогда быть? И не вступает ли добро вечно вторым на кровавую арену рушащихся судеб? Не сплошь реакция ли оно на творящееся зло?

Нет. Именно добро горит пламенем веры, алым и согревающим. А в иной стороне мира инфернальным огнём холодных оттенков истекают злобой зависть и вожделение. Какому пламени отдать жизнь, каждый христианин выберет
сам, и христианина в себе не утратит лишь в одном случае – при выборе блага.

Трагическая борьба протопопа Аввакума за истинную веру, и трагическая же борьба патриарха Никона продолжаются сегодня в каждом из нас. Как лучше, как праведнее, как вернее, вопрос из разряда вечных. И споры своеобычны, но ни один из них не может заканчиваться призывами к массовым убийствам тех, кто мыслит и чувствует иначе. Или просто иной крови, языка, плоти и сознания. Когда-нибудь расколы сойдут на нет, но не раньше, чем сделается достойным своей великой участи сам человек. Мы же теперь – свидетели сколь безверия, столь и веры, и перебегать от света к тени обречены только тенью.

*Сергей АРУТЮНОВ*

**ФРЕСКА ПЕРВАЯ**

*Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу, бьют челом богомолцы твои Соловецкого монастыря келарь Азарей, казначей Геронтей, и священницы, и дияконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болнишная братия, и слушки и трудники все. В нынешнем, Государь, во 176-ом году сентября в 15 день, по твоему великаго Государя указу, и по благословению и по грамотам святейшего патриарха Иосафа московского и всея Русии, и преосвященного Питирима митрополита Новгороцкого и Великолуцкого, прислан к нам в Соловецкий монастырь в архимандриты, на Варфоломеево место архимандрита, нашего монастыря постриженник священноинок Иосиф, а велено ему служить у нас по новым Служебникам, и мы, богомолцы твои, предания апостольскаго и святых отец изменить отнют не смеем, бояся Царя царьствующих и страшного от него прещения, и хощем вси скончатися в старой вере, в которой отец твой Государев, и прочие благоверные цари и великие князи богоугодне препроводиша дни своя: понеже, Государь, та прежняя наша християнская вера известна всем нам, что богоугодно, и святых и Господу Богу угодило в ней многое множество, и вселенския патриархи, Иеремия и Феофан, и протчия палестинский власти книг наших русских и веры православные ни в чем до сего времени не хулили, наипаче же и до конца тое нашу православную веру похвалили, и тем их свидетельством известно надеемся в день Страшного Суда пред самым Господом Богом не осуждены быти, наипаче же и милость получити…*

*Послание соловецких иноков*

*Царю Алексею Михайловичу*

**(Аввакум и я: речи наши)**

Она мне денно и нощно баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матерьи, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чудовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и беспрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разевает, штобы к Богу Господу воззвати.

Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее. Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеши зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем – нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древняной лодьи подземной восстанеши лишь на Страшном Суде!

А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога – не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.

Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самого Времени нет как нет?

А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Аттике гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился – да там и пропал... И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин...

А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановитися ему, не прерватися: он нас всех побороть хочет.

А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеши под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувыркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею... Ежели кровь наша с нами – не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!

А она внезапу предо мной на колени встаёт. На меня взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будьто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывет Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея – не признал... Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Всю жизнь она зрит – вашу и мою.

...Мiръ медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мiръ, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и миръ. И война будет постоянной, а миръ будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у меня за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мiръ станет лют. Мiръ станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.

...и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чего уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, покаяньем?..

А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.

Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, что время течёт рекой. А там – сумасшедший покой.

Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь – к себе, а хочешь – к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается, играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится... беспечные пляски, румяные лица! На рукаве – птица-синица жизнию прежнею снится... И вдруг – раз!.. – и канет... розой увянет... перловицей манит... плясать не престанет...

Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт – копьём навылет летит. Он един. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копьё летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слёз. То Время тяжёлое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовь. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодари за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Через Триоди и Святцы и землянику могил.

А вот и четвертый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака – тайна. А мне – любим и свят. Для нево одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.

А пятый Времени слой... о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времячко движется вспять. Вспять – для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд – то назад. А потушенные свечи горят. А убитые – воскресли. А порицаемый – свят. Если жить заново... если... коли родиться вдругорядь... споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать...

Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд – всё захлёстывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает омофором. Всё заключает в объятья. Все – родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём – сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас – двунадесятью язы́ками – говорящее. Нами – языками огня – в предвечной ночи – горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течем, притекаем, в нево реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своею радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы – потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым... для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало...

Оборвала речь бессвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из утлово тела. Я молчал; а што было говорити? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнутися, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будьто я бессмертен меж смертными всеми, будьто я не протопоп жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене... да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желаешь, да будет то больно, а не забоишься? не захолонет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо... я пошутила, отче... я ж твоей пятки не стою...

Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сейчас. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ищо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.

**(Аввакум и кровь)**

Людие, людие. На ково вы делитеся? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистощим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Мiръ, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля – авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племен, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка – признак живого. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесёшь моея смерти.

Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче – об ихней смерти. Смертушка. Я во мнозих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел.
И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонушке – везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё – говорил.

Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самою душою – думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю . Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!

Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.

Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черед, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашёптывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.

А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошеяя, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнем горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленях предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон целитель. А под дровёшками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажати рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзити – а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица своево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во всея жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ищо на земле, – а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, урода, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божием храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!

И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготавливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице мое было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая... Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ищо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ищо будет! Так зачем поперёд веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?

Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда... а на порог взошёл болярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детями на сенокосе была: как раз тою косой, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло все стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она – на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.

И ссилился тут я, и приподнялси тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што – не срок мне нынче. Ищо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Дале! Ступай с миромъ! Отыди с миромъ!

И она отошла.

А на другой день явилися в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету
ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице – Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлёб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня... кровь... лилась... во снег и грязь... и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь...

Наша беда – мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы – поздно – везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем все в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!

Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы... на краю бытия...

Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она – теперь у тебя, человече, одна. Когда, о, когда же, когда пробьёт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнём вспучатся все материки... а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки...

Когда, о когда, в самом деле, по-настоящему мы умрём, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарём, разобьёмся ли, кони вдруг понесут, или нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем... ни годов, ни часов, ни минут... Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти – мгновенье твоё последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб... Ты мнишь себя бессмертным, ты, ветка краснотала, бесконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твоё мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она... а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна... Смерти никогда нету в настоящем; она явилась – а тя уже нет! О радость! огнь молящий, палящий... на тыщу живых вопросов – один погибший ответ... Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду – Крестом... Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела: ищо час, ищо пять минут... Ты воззри на себя из будущего, человече! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак... Так человек осознаёт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь... Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе... таков убийства чёрный огонь... Ты убил котенка, чижа, жука... утку на первой охоте... ты убил человека, чужово, родново... слыхал ево дикий стон... ты не Бог, а жизнь отнял... смерть, непостижная! ты над нами в полёте. Ты наше завтра, но тя даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут сбиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то все равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённы поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же бессмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас – у нас, у крови весёлого гона, у родильного стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея – заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза... Умирает старая кровь, если новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже... древние грозные льды... Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она – живая! И, живую, ея попросить... ей взмолиться... штобы мимо – ея следы... Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым... за тебя принимаем чужие страшные лица... лица, лица, лица людские... улыбки, морщины и кровь... красного снега тяжелый ком... Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит... может, в небо красной хоругвью взмывает... надо всеми, над Мiромъ моим... кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе... не кручиньтесь... ведь смерти нет... глядите, лишь кровь и дым...

Только дым и кровь, только древнее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до бессмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить нового Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся бессовестно грешная, жаркая, бешеная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся – потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.

**(протопоп и боярыня Морозова)**

Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети
отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратилси. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я через головы всех воззрился!

...да и понял живёхонько, што к чему.

Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.

Куды? На суд? Опосля суда – приговор исполняти?

Каково я здеся-то оказалси? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе... Ничево не понимал, однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею – мимо мя, грешново, неслися.

Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси – и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчушке безымянном – рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь – с голоду помрёт, а воскреснет она.

Везут! Везут, Господи... Укрепи ея, поддержи ея... Любимицу мою, ученицу смиренну... Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищалым – кров давала; безверных – верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих – надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!

Мимо, мимо розвальни... На снегу сидит, скрючившися, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугунных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услыхал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дщерь Твоя за Тебя нынче – на смерть идёт!

И глядел я ясно вперёд себя, и нашел глазами в санях – лице ея.

...И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами – к перстам... Гудит жерло толпы. А в горле – хрипнет: «Исуса – не предам». Как зимний щит, над нею снег вознёсся – и дышит, и вали́т. Телега впереди – страшны колеса. В санях – лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней – болярыня, двуперстье воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, – сгниют в земле, умрут... Так, звери, што ж тропою ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, – гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!

Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес – отвес – на руку, исхудавшую убого – с перстнями?!.. без?!.. – так льётся синью, мглой, молочной сластью в солому на санях... Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, – и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова – в Мiру в палачьих розвальнях – пребудешь вечно гостья у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Его читала всей кровью – до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдя обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своего любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу – в пол-руки!.. – вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз – ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою –
Христос.

И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом – в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольного огня, от вставшего из трещины кострища – ввысь! до Чагирь-Звезды!.. – из сердца бабы – эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.

Горит, ревёт, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огнь – он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег – в яму и тюрьму, на розвальни... на рыбу в мешковине... на попика в парче... Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица – на плече... Как поцелуй... как нежный, неутешный степной волчицы вой... Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распятье над бугром...

...И – катят розвальни. И – лица, лица, лица засыпаны сребром.

...и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят... Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинище старый, годами трёпанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовию. А я стою, в раздумья тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь – вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститися! А што взамен тово?!

Везут... везут мою дитятку духовную... везут мою цариценьку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку... в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она... она не покачнётся... руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея... и – вижу – двуперстие из пальцев исхудалых складывает... и ищо выше, выше тянет... вот же оно, вот – Исусово крестное знамение! Исусов знаменный роспев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья – брёвна стоеросовые, тя везут – ах, знаешь ли, куда?! на што?..

...и тут болярыня моя на мя – свои широкие, будьто лопатою выкопанные на метельном лице тёмныя очи – перевела.

...узнала. Она – мя – узнала!

Споведала!

Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови собольи на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины –
глядела, и со светом Божиим – прощаласи.

А длань с воздетым двуперстием – не опустила.

Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.

Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилось, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своея хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!

– Аввакуме!.. отченька...

Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирый, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущего человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обымаются на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженного. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающую с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал – всем.

Всем сущим.

...не сознавал, што же такое со мною.

...чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.

...и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрачками вдаль провожающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашего Исуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, огромадные Три Креста, и на одном, в самой средине, в средоточии Мiра видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево – два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!

Да што там: сам Господь на Кресте – их, татей, простил!

И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший – Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:

– Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём!..

И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моём хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновенье стал зрети. Весь Мiръ, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам – в тот весь Мiръ разом обратилси.

И я, сиречь весь Мiръ, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силёнок:

– Нынче же будеши со Мною в Раю!..

И это раздалось, раскатилося по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:

– Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у...

И не устыдился я, не засмущался, што я на глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.

Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.

А вот таковое – назначено.

Имеющий уши – да слышит. Имеющий душу – да простит.

Прости, спаси и сохрани мя, Господи.

...так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтя-загогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащего санного полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней – бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шёпот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастного виденья, от метельного колыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всего и вся по именам называнья, и я старался, идя, всё забыть, всё простить, што было и чево не было; я шёл и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, тёплые, старые, юные видел, шёл вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шёл один, а как будьто все разом, шёл один, али тьмой тем, уж не ведал, а на меня косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я бессвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.

**(несыть, наледь и глад)**

Сибирь, мой имбирь, мой пряник мятный, со узорами-фигурками, глазурью молочною расписанный, размалеванный снегами-полудурками. Жена да детки ревмя ревут, мя в тебя, Сибирь, везут, у рек твоих брег крут, – ахти мне, да не убьют! А лишь до крови, до сукрови измолотят-изобьют, и потечёт та кровища-сукровь по сукну, по дерюге да в песок... Ах, держися, протопопица, моя бедняжечка, за мой Живый-в-помощи исподний поясок...

Настя, младенца ты живаго родила, а нужды камнями навалилися, радость наша сгорела дотла; хворую Настасьюшку да в скрипучей телеге прямиком до острога Тобольскаго везли-везли, а младенчик орал пуще раненой росомахи в тайге рыжекудрой... вопияше, инда на краюшке матки-земли!.. Мне поведали разумники-картографы, что мы, грешныи, колёсами да ножонками промерили три тысящи вёрст; трясли денно-нощно дряхлыми одежонками, запахивались, заместо тулупов, в пургу да в мороз... а в санях протряслися ищо половину пути – и зрю над собою в ночи угрюмые лица: не спи, протопоп, застынешь, как пить дать, а нам-то, вишь, ищо долгонько брести!..

А моево вернаго дьяка Антония вражина, имечко ево християнское, Иоанн, однажды схватил за шкирку, будучи непотребно пьян, и на снег выволок, и руки Антонию за спиною связал, и мимо храмины в избу себе поволок – а там-то: в рожу огонь! в зубы сапог! Мучил да мучил, на всю жизнь изувечил, а дьяк, не будь дурён, возьми да от нево улети, быстрей каменя из пращи... да ко мне, дрожа, прибежал... теперя ево ищи-свищи... я раны ему промыл черемичной водой, ромашкою пересыпал, ветошью перевязал... на свои полати спать уложил... а Антоний всё на мою Настасью во все глазёнки глядел – ничево не сказал... Лишь наутро, когда затемно за голый стол вкушать пищу сели, выдохнул, будьто задул свечу: экая протопопица, инда сама Богородица... не кощунствую, батюшка, молчу, молчу!..

А я обернулся – и вижу: на краю длинной сиротьей лавки сидит Настасья моя, а у груди ея младенчик, уснул, слава Те Боже, в охвостьях с чужой плоти белья, наелся, родимый, болезный, тощего материна, сладково молока... напился впрок, на перекрестья дорог, на все, Господи Ты нас прости, беспредельные, бездонные, безродные века...

А что ж!.. и правда, а што человек лишь года малые небо коптит, века не живёт?.. «Хочу, чтоб ты пребыл, доколе Я не прииду!..» – рек Господь Иоанну-ученику, отправляясь в небесный полёт; а Настюша, и верно, сидела смирно, хоть нынче иконой в медный оклад, и белки глаз сапфиром блестели, и волоса до полу упасть хотели, русой проселочною дорогой, не вернёшься назад...

Времячко, время... и суток не прошло, как пострадал я от диакона Иоанна зело. Вечерню служу, снаруже лютый хлад, ищо до Сретенья, исход генваря, а тут двери стук, и настежь, и втекает Иван тот, поган, тянет крючия рук, да Антония за бороду – цоп!.. да о древняный настил лбищем – хлоп!.. по Антоньеву лику кровища так и хлынула ручьём... А я на храмовы двери – засов, да руки Ивашке выпростал из рукавов, да замотал за спиною вервиём, и ево, подлеца, мы с Антошкою-дьяком сперва ремешком, посля хворостиной гусиною постегали вдвоём! Эх он и орал! Красен рожею стал, что бабий, в ожерельях, коралл. А мы-то устали стегать... провались, оба вопим, да не пытай ближнево своево вдругорядь!

И што? Подстерегли нас сродники Ивашкины. Средь многозвёздной ночи ломились в избу. Настасья дрожала. Младенчика у груди крепко держала. Невнятно бормотала – про Бога, судьбу. Ах, судьба полынна, жизнь долга-длинна, вервиём то вяжут, то бьют, то снопы обхватят, то гробы подхватят... а жить-то – сколь там минут?.. «Пропадём, протопоп!..» – ея долгий вопль, а потом шёпот дикий, будьто чужой, слышал я всем сердцем звериным, всею Божьей душой... Дверь выбили – могутными плечьми, беспутными ногами! Врываются, на лицах пламя, зубы в ночи кострами горят, белки бешенством непотребно блестят! И встаёт тут с постели протопопица моя, вижу – губы быстрым шёпотом молятся, глаза кричат, а прозрачные слёзыньки по скулам текут, не вернутся назад!

А ништо, никто назад не вернётся... всё едем, мчим лишь вперёд, вперёд... И я-то, иерей, смерть завсегда у дверей, доподлинно знаю: там, в конце пути, ищо далёко ехать-идти, никто – никогда – не умрёт...

И вставши с постели, и творя шаг еле-еле, шаг, един, другой, подбредает к чёртовым катам, а робёнок у ней на руках – спит, ровно во мягких облацех, не пошевелит ни ручонкою, ни ногой! И близко, вот она уже слишком близко к смертушке, к насильникам нашим стоит, – и внезапно тако высоко, к матице самой, подымет робёнка, и валятся на пол ветошь-пеленки, а малец не проснётся, таково крепко спит!

И тако возговорит жена моя, Богом данная, с неба манною, к убийцам жестокосердым душой обратясь: не обидьте, сердце с-под ребер не выньте, не втопчите в наледь и грязь! Мы живые же люди! Не индюшки на блюде! Не на Масленую – блины! Не грызите плоть нашу и косточки наши, усы от крови нашей не утирайте! А простите... да со двора утекайте... да штобы не было, Божьи ж вы люди, иль кто, лютой бойни, кровавой войны!..

И воздымает выше младенца. Кот трётся возле ея коленца... и ищо один из-за печи медленно, важно вышел рыжий кот... А народ стоит, блестит в ярых оскалах зубами, и тут молонья между нами ударила: НИКТО! НИКОГДА! НЕ УМРЁТЪ!

Кто то слово молвил?.. Зачали оглядываться все друг на друга. Каждый каждому – чересседельник, подпруга. Стоит, высоко держит младенца супруга моя. И пятится, пятится прочь от меня злыдень главный самый, дьяк Ивашка, яко с порога храма, объятого безумьем, алым лихолетьем сплошного огня.

Эх, видал я не раз, как церкви горели! Те пожарища когда потушить не успели – на пепелище вставали кругом монашьим да молилися... и молитва была нам – вино и брашно... И видал сто раз, как горели дома – и метались насельники их, сходя от тоски с ума: жизнь горела там ихняя, велия радость горела, дедова, в телячьей коже, Псалтырь, древняно иконное тело... А иконописный дух?! Да пылал, бушевал за двух! А я воплю: прочь, выметайтеся во кромешную ночь, вам всё едино Господа Бога нашево не превозмочь!

И выкатились. И один из той толпы нечестивой, што вломилась к нам в дом да собралася нас, грешных, убивать – и перебили б всё бедное семейство моё, до смерти забили!.. у них во очах я это читал, ровно во Книге Пророков!.. – шедши восвояси, пал на улице и издох, яко пес смердящий.

И вот тогда Царское слово, на бумаге витиевато писанное, прибыло с обозом в Тобольск. Расколол Царь нас, мечом рассек надвое, аки воин Царя Соломона едва не рассек младенчика, из-за коево повздорили две матери: мой да мой! поди, лико кровию умой... – ах, разрубил! и што? и то: это как икона святая: упала со стены во храме, раскололась надвое, и не сшить, не склеить, не связать, – не простить. Разве ж Бога Господа можно надвое – рассечь? А потом наново сочетать? Разве ж Он попустит с Собою такое сотворить?

А землю нашу, значит, так-то – можно?!

А жизнь человечью – разрешено?!

Ну што ж... што ж... В послании Царя писано бысть, стояло чёрным по белому: везти окаянного протопопа на Лену-реку. И потекли в путь. И добралися до Енисейскаго острога. А там, в Енисейске, ждал уж другой приказ Царский. Везите, мол, преступника в землю Даурскую! От земли Чудской до земли Даурской – вижу: несыть, наледь и глад... Раскололи любовь! да тропою узкой не вернёшься назад... Не уронишь хрусталь, не схоронишь печаль... так с тобою навек, нищий ты человек, твоя голь, боль и жаль...

**(дощеник тонет)**

Енисейский острог покидали. Оглядывали срубы, крестились. Когда ищо доведется увидеть эти дома, эти небеса?

Небеса одни. Надо всей землёй.

И Бог – один.

А люди разрывают Ево на куски, кромсают, ломают, режут ножами.

И это не Причастие святое, нет. Это – безлюбье. Бездушье.

Бог – твоя душа. Потерял ты, брат, родич, соплеменник, живу душу свою!

Лошади тянули возки, телеги, кошевы. Он оглянулся на град, што покидал. Ветер трепал браду.

Протянулся день, другой, третий. Реки, холмы, шкура тайги, далёкие крики зверья. Когда вышли на берег Тунгуски, лоб крестили опять. Река! Жизнь велика. И слово надо сказать, штобы соединяло, штоб звенело и болело и всем ево слыхать, не только себе под нос бормотать. А што есть такое слово? Слово было у Бога. И слово было Бог.

Ересь Никонова, изыди!

А ересь, што такое ересь? Гадость то, мразь, мерзость, да! А каково-то душе еретика, вдумайся! Вчувствуйся. Еретик, он опять же мученик. Да заблудшая овца он. Да вражина первейшая – не тебе: Богу опять.

Дощеник, припав боком к берегу, деревянный телёнок – к корове-матери-земле, ждал. Погрузились. Протопопица перетащила по доскам детишек: одного на дощеник перенесёт – за другим на берег бежит. В юбках запуталась, чуть в воду не свалилась, дитёнка на руках пьяно держит, качнулась, еле удержалась: устояла.

Вот так и надо устоять.

Стоять во что бы то ни стало!

Наш Господь выбрал это, вот это: на Своем стоять. И быть распяту. И мертву быть.

А зло, оно што? Оно неистребимо. Невытравимо из людского скопища! Вон гнус сибирский летает, клубится. Человека привязать ко древу – за ночь гнус съест ево до костей.

Погрузились. И ветер тут налетел! Ветер, мощь, стихия, человеку страшна, борет всё, разрушает всё, коли захочет – всё в мире с землёю сравняет.

Ударил ветер в бок дощеника. Перевернул ево, и черпнул он воды. Господи ты мой Боже великий! Помоги, спаси, не отринь! Потонем ведь все в одночасье! Водица хлещет, ветр ярится, парус рвётся, текуча вода, Мiръ исчезнет, сгаснет под водой, погружаются медленно люди в яростную воду, во время, погружается мир в темноту, Бог, да Ты Свет, Ты един, на Тя уповаем, да не постыдимся вовек! Вот палубы, доски кренятся, ветр сумасшествует, – да мало ли в жизни человечьей безумья, и вот, зри, тебе безумье юродки-природы довелося к сердцу прижать. И простить! Простишь ли, человек, природе да Богу страшную смерть свою!

...Жизнь, жизнюшка. Тебя нельзя начать заново. Тебе имя-то каково? Ты протопоп, звать тя Аввакум, жёнка твоя зовёт тя в минуту радости земной – Вакушка. Земное имя! Дать ево нельзя вдругорядь, и нельзя жизнь начать наново. Сибирская бурливая река, вода нахлынула, дощеник тонет, вот-вот на дно пойдёт, к рыбам да червям. Полна древняная утлая чаша ледяной воды! И по лету в тутошних реках вода холодна; холоднее смерти.

А вот жёнка твоя со детишками, вместе с людьми и дощеником, тонет. Тонет! И нынче утонет! Ты-то плавать смогаешь, а она не умеет. А всё, что потонуло, да разве же выплывет?!

Жизнёнка, летишь, малая, сирая ластовица... тощая, слабогрудая птиченька... то над реками... то над морями... над тайгами... в пустынях ветр пески, смеясь, перевивает...

Спаси! спаси! лишь крики над рекой. Лишь рваные паруса серых облаков в небеси. А и кто там во облацех, над тобою и сторожами твоими, протопоп? А это Господь Бог твой! И на гибель твою, и на гибель протопопицы твоей и чад твоих – торжественно, молча взирает! Ибо смерть – таинство велие есть; и неизреченна она; и пьянеют люди при единой мысли о ней без вина; и все поколенья, до тебя бывшие, по лику богатой и жестокой земли прошедшие, уже в холодной воде, – а ты ищо идёшь, еще идёшь. И вот – плывёшь. И вот – тонешь!

Уходит под воду днище твоё! Корма твоя! Сосновый, гордый нос корабельный твой! Дощеник-то твой хрупкий оказался, жалкий! Протопопица на кривой палубе стоит, ребят к себе сгрудила, глаза по плошке, глядит на тебя, инда душеньку свою всю перелить в тя желает. Да! Так любит она тебя! Вот сейчас! Перед смертушкой!

Власы бабы растрепались. Страшен вид ея! А што, ежели и земля однажды, в свой черёд, в черноте ночных небес – возьмёт да утонет? Ко дну пойдет, да не к червям – ко звездам!

Орёт ребятня. И все люди блажат.

Пошто, когда человек умирает, кричит?

И лик свой к небесам задирает. Вопит надсадно!

Умирать – не хочет!

Господи, спаси! Помоги! Сохрани!

Да тонули, всё равно тонули, бесповоротно: видать, пробоина во днище случилась...

Обернулся. За их дощеником плыл, качался на ледяных волнах второй корабль. Там, на ево палубе, Царёвы люди и несчастные ссыльные, наказанные ни за што, просто за жизнюшку: за то, што на свете живут, – плакали и визжали. И бросился в воду един Царёв слуга; не разобрать, стар иль млад; и сажёнками поплыл к Аввакумову дощенику, и уже взбирается по борту на палубу, как соболь когтями во кедра кору, вцепляясь во щели меж досок. Корабль уходит под воду, а человек со другой лодьи зачем приплыл, по шаткой палубе, полоумный, шарахается?! А! Из воды – за волосы – вытаскивает робятёнка! Так это ж, зри, протопоп, сынок твой младший! И отроковицу из воды хватает,
и на бочку с солёною рыбой кладет, бочка, чудо, ищо торчит из воды! А мать глядит. Глядит неотрывно!

Вся жизнь в ея очах; вся смерть. И синие от холода губы шевелятся. А ни крика, ни стона. Ни звука.

Вот уж все твои детишки на той бочке сидят. А царёв слуга, по колено в воде, бредёт по скошенной палубе к тебе.

– Спас я семейство твое, протопоп!

– А пошто спас?!

– А жаль мне тя стало! Всё же детишки! Божьи созданья! Безгрешны они! Это мы грешны со всех сторон, протопоп!

– Как имя твоё?! Ежели живы останемся, в молитвах буду поминать!

– Егор!

– Кому служишь, Егор?! Царю?!

– Ему, батюшке! Кому ж ищо!

Так перекрикивались.

– Што стоишь како жердь, протопоп?! Богу молись! Авось Он зла не попустит!

Почему ты запел, среди смерти всеобщей, тот кондак, из Постной Триоди, да зачем сбился на свою, из души, песнь, ты и не ведал.

Необъяснима жизнь; и непостижна смерть.

**(первое видение Аввакумом Царя и Патриарха)**

Шаманский порог перекатывался грозными струями. Струи серебряные, струи железные, навеки безвестные, а вверху, в небесах, бранные тучи друг с другом воюют. Никак друг дружку не поборют. Так и люди. Вражина Пашков, страж ево, то подходил на палубе к нему, разворачивал за плечи к себе лицом, и ну – с размаху – рукавицей да в рожу! Аввакум даже не утирал ладонью кровь. Пусть течёт. Непредсказуема человечья злоба; когда она родится, как вспыхнет, сколь будет пылать, долго ли, коротко ли – никто не знает, только Господь.

Пашков плевал ему в лицо. Плевок грубо вытирал холодный ветер. На палубу, шатаясь, выходила чужая вдова, одетая в чёрную понёву; крестилась, потом крестила протопопа. «Разобьёмся на пороге-то!..» – одними губами бормотала.

...как же там жёнка, с детками, во закутке подпалубном, одна... плачет? молится? Уж лучше б молилась. Господи, на молитву наставь ея, сделай милость. А я потерплю. Я ведь жизнь нашу – любую люблю. Жизнь – она ведь такая: то вёдро, то бури отчаянье, а то сидит девчонка, рыдает печально, то дочушка моя, ре́чушка, разливается-плачет слезою талой, горячей.

Дощеник наш, ровно утица плывущая, с боку на бок на стрежне переваливается. Делать нечево, плывём, хлеб жуём. Голодать голодаем, а потом вдовы, монашки грядущие, в котле наварят кашу, так с той кашей и Страшный Суд не страшен. И приблизился другой порог, по имени Долгий. И завыли на бреге голодные волки! Нас зачуяли, человечину, значит. Стоит на носу вдовушка, плачет. Подошёл да шепчу ей: тихо, тихо, так всё шепчу: тихо, тихо, ты што, шепчу, аль не видала в жизнёшке лиха?.. аль не страдала, боли не дожидала?.. али муки мученической вовеки не испытала?.. А она, вдовица-то, как обхватила мя за шею, как прижалася вся, дрожа, пламенея, и молясь, вслух бормоча бессвязицу, бестолковье... да полное чистой, неистовою любовью... Молода ведь... да я тож молод... а внутри дощеника – моя жёнка, дети... а снаружи – Долгий порог, тяжкий ветер, холод и воды, до края землицы воды, то сплошные смерти, а то Вселенские роды...

Я так ей шепчу: ну, пусти же меня, ты, вдовица, пусть это всё нам обоим в Божием сне приснится, а так – обнимемся мы там, видишь, где?.. в зените, за облаками, там тя поцелую, обовью Ангельскими руками... А тут Пашков. Прыг на палубу! и нас, обнявшихся крепко, зрит погано! И хохочет-ржёт, ровно конь! и валится, будьто спьяну! и по доскам катается, колени поджав к подбородку... а потом застывает – да так и засыпает, к небесам браду подъявши смешно и кротко...

И вдовица моя выпускает мя из объятий, подбегает к Пашкову, обтирает ему от пота лицо потрёпанным платьем, шепчет Божие Слово... А я над ними стою, сам себе храм, сам себе колокольня, и мне так грозно, вольно, нежно, мощно и больно.

...а наутро выкинули из дощеника мя на берег. Зачем? не знаю. Может, Пашков тако умертвити мя пожелал. И готов уж я был обратиться живым да горячим телом в тот жёсткий, по утрам льдом обросший дощеник, олений стланик, ободранный веник. Причалили лодчонку к берегу, скалы над водою нависают, меня за шкирку, яко щенка, ухватили да на берег выкинули. Сапогами водицы черпнул, порты вымокли, изветшалый кафтанишко тож. Обернулся. Ну я ж не Лотова жена! На дощеник гляжу. На палубе вдовицы столпились, на мя пальцами кажут, лики от слёзынек ладонями обтирают. И это мне, мне их жальче, нежели им – мя, грешново!

Озираюсь... Высоки уступы и скалы. Камень на камне навален, и подбираются горы Сибирския к Господу Богу. Мощь! Сила! Красотища! Зажмурился я. Так стою, и ведь ведаю, што сгибну, а внутрях все поёт. Очи отверз. Надо мною гуси летят. И то ли восвояси возвращаются, то ли прочь с родимой земли улетают: я счёт временам утерял, не знаю, нынче поздняя осень или ранняя, ледяная весна. Гуси, утки, лебеди, галки, вороны, орлы да соколы, о, многое множество птиц Божиих снуёт тут под небесами, утопает в синеве али в сером мышином рванье, в занебесной дерюге! И чудится мне, што из чащи на мя зверьё глядит. Пристально, яко на врага. На вражину; я для них, зверей, – человечья вражина, и иново мне имечка нету пред зверьми, хоша пред людьми я всю жизнь норовлю чистым да честным пребыть. Зверьё моё! Лоси да кабанчики... олени да козлы дикие, нравные... медведи да волки... бараны да косули... а поговаривали на дощенике, што тут и громадные лесные кошки по тайге бродят, и кто той кошке в когти да зубы угодит –
живым не утечь уж ему... И смертно я страшусь лесных змеюк; хоть на бережку стою, на дощеник пялюсь, а под ноги себе со вниманьем гляжу: может, мимо проползёт, подлюка, так я ж ей чуть пониже башки ея вреднючей сапогом наступлю.

Нет. Не вижу змей. Стою, ветр мя обвевает, студит. Неужто на пищу диким зверям пойду? Сзаду ко мне казаки подходят, слышу песка да веток хруст под ихними сапожищами. Поворачиваюсь к ним весь, каков я есть. Казаки на мя воззрились.

– Откуда ты, мил человек?

– С дощеника. Вон, утекает.

– Энтот? Вниз по реке?

– Да, вниз по воде.

Дружно обернулись туда, куда я взирал, и проводили дощеник печальными, удивленными очами.

Потом я кашу казакам на бреге холодной реки варил. Посадили мя ближе к необъятному котлу, крупы в котёл насыпали, водою залили. Деревянную, с длинною точёной ручкой, лжицу в руку всунули: мешай! Мешал. Ветр усиливался. Ярился. Огонь под котлом; ветрище ево красную бешеную шкуру в лоскутья рвал. На реку под ветром я не глядел; ветр белые барашки по серой волчиной воде всё гнал и гнал. Да всё к моим ногам. Казаки костёр близко к воде развели, и ветр иной раз швырял брызги в огонь, ровно горсть мелких жемчугов. Я такие там, мальцом, на родине, давненько, с детьми – из перловиц зубами вынимал... Казаки вопят: лодья! лодья! Оглянулся. Лодка к брегу пристала. Оттуда люди идут. А поодаль дощеник примкнулся к песку: наш, Пашков? чужой? Не ведаю, ибо зраки будьто тучею заволокло. Тяжело люди идут, хрустко ступают. Топ, топ. Вот те, батюшка, и сосновый гроб. Над собою смеюсь: што сам себе мелю! Стали. Казаки таращатся. И я гляжу со вниманьем, спокойно. А лиц по-прежнему не различаю, и кто такие, в рожу не узнаю. Да и не узнаю никогда. Один шаг вперед – и р-р-раз мя – по скуле! Больно вдарил; да колко, длань его в колючую воинску перчатку была облечена. Другой вперед ступил – и стук мя – по скуле другой! Кровушка изо рта потекла. Я зуб на песок плюнул. А тут и третий вперед по песку шагнул – и мя в грудь толкнул, и свалился я, и тут бить меня зачали, одежонку всю как есть посрывали, и голого били-лупили, прямо на бреге реки безвинной, а гуси в небесах все летели, а я их уже не видал, мордой расквашенной в песке лежал, песок белый, холодный кровью пятная. Тут разум утерял. Таково крепко били. Кнутами и батогами. И конскими плетями. Когда древняным стволиком молодым, тонким, да с потягом, стали по спине охаживать, на миг я очнулся да опять во тьму нырнул.

Опять вынырнул. Чую, губы сами шепчут: за што? за што?.. пощадите! пощады! Злые люди! Ах вы, злые люди! Под дождём на палубе валяюсь. Наш дощеник? Не наш? А што наше-то в подлунном Мiре?.. да ничево. И сам я не свой. А Богов. И люди под Солнышком, под Луною – Боговы. И ничьи более. Нет, диавол рядом; и ухватить норовит. И пожрать. Мы – еда. Еда! Всяко, во все времена и царствия. Так назначено. И не нам укротить ход времен сих. Дождь осенний, хлещет по мне, лупит наотмашь. Не хуже палачей. И лежу тихохонько. Терплю. Смирение и терпение, так повторяю себе мокрыми губами, смирение и терпение... и...

И будьто я тут, на мокрой скользкой палубе валяюсь ликом к небу, и будьто уж не тут. А где? То-то и оно. Небеса волглые расступились. Разъялись. Мечом молоньи рассеклися. Каждая жилочка во мне дрожит-болит. От боли ничево не чую, не зрю-не слыхаю. Шёпотом Господу молюсь. И вроде как не на дощенике уж я. А в Царских палатах. И на троне восседает Царь наш Государь, владыка верховный, Царь святой и славный, Богом на тот трон посажёный, и я, хоть ни в жизнь ево не видал-не встречал, прекрасно понимаю: это – Царь. В одной руке ево скипетр торчит, указывает вверх, на своды палаты, зело расписанные яркими фресками. Ярче Солнца те росписи, богаче хвоста павлиньего! Во другой руке – держава, круглая золотая Луна. На вид тяжела, а на ощупь? Гляжу на Царя. Царь – на мя воззрился. И молча таково друг в друга вглядываемся.

И не вижу, што возле Царсково трона человек стоит. И вдруг увидал. Во чёрной рясе. Иерей. Высоко поставлен, пред самым Царем, а пошто же в повседневной нашей поповской хламиде, не в ризе злато-сребряной, парчовой, смарагдами да лалами расшитой? Ах, кумекаю, Великий ведь Пост нынче. И архиерей, и митрополит, и сам Патриарх должны во времена Великаго Поста во чёрное платие облачитися. То Царь в парче сидит, в каменьях, на Солнце играющих. А Патриарх – Господа слуга. Господа же на исходе Великаго Поста избичуют, оболгут, распнут и во гроб положат, и камень велий ко входу приткнут; и никто из живых, живущих ищо не знает, что белый Ангел прилетит на том камне смиренно сидеть. И Марию Магдалыню со Марией Клеоповой ждать.

Стою пред Царем да пред Патриархом и мыслю так: с ума, видать, скатился, избили до крови, до утраты разуменья, вот и видятся картины несбыточные. И тут Патриарх шагает вперед, и ищо шаг, и уж возле мя, и тихо балакает, почти шепчет, еле разбираю:

– Верь, верь, ты без веры – прах. Главу склони!

Я подошёл под благословенье. Башку поднял – Патриарх в то время мя крестным знамением осенял. А Царь, Царь на всё это внимательно глядел.

Потом Царь разжал губы и молвит:

– Думаешь, ты в Сибири? Мнишь, то я прибыл в Сибирь да тебя велел тут сыскать? Нет. В Москве ты, протопоп. В первопрестольном граде. Изволь к ногам припасть Царским!

Я так в ноги Царю-батюшке и повалился. Рухнул на колена, потом лицем на половицы возлег, на животе, аки квакша, растянулся. Распластался. Лежу. Тишину слушаю. Молчанье Царское. И Патриарх молчит. Тут понимаю так: да ведь это ж Никон Патриарх. Никон! Через пять изб от меня рожден! Земляк мой, ищо чуть, и сродник! А што ежели рот разлеплю, язык разую – да к нему обращуся, яко к родному, по вере кровному, по землице, где рождены матерями нашими в Божием Мiре, брату возлюбленному! Да ведь все люди братья на земли! Все! Зачем же нас разрубают?! Зачем берут меч, топор, алебарду, секиру, тесак мясной – да как размахнутся, да как вдарят, резанут, отсекут, от хлещущей кровушки лице своё не отворотят?!

Лице своё от половиц – горе подымаю. Очи соль заволокла. Соль по щекам льётся. Трудно в голос молвить.

– Никон, – бесслышно шепчу, – да Никон же... ты же – свят... ты же –
в наивысшем сане... пошто ты так-то удумал... книги переписать... псалмы по-иному петь... старые святые словеса, коими спокон веков наши отцы, деды и прадеды изъяснялись, все перелопатить, искромсать, с ног на голову водрузить, исказить да извратить... где буковку пришить, где титло присобачить... штобы музыка святая – инако зазвучала, иною тропой побежала... а пошто менять тропу ко Господу в небеса?!.. али заросла та тропа крапивой да чертополохом?..

Патриарх на мя взирает. И Царь на мя взирает. Оба живые. И я жив.

Ни жив ни мертв.

– А што, думаешь, протопоп, где жёнка твоя?!

Тут сердчишко во мне в ямину ухнуло.

– Не ведаю...

Губы захолодали, яко на ветру.

Царь щурится недобро.

– У меня твоя заполошная жёнка! Да таково орёт-то, я ея велел чуть поколотить, штобы – примолкла!

На Царя гляжу и весь дрожу. Настасьюшка! сколько мук! сколько... сколько...

Догадался. Как батогом во всю нагую спину протянули.

– Царь-Государь батюшка! А ты ведь – не Царь!

Округлил глаза Царь. Воткнул в меня зрачки – два копья.

– Што мелешь!

– Ты ведь – порог речной! Смертный! И имя твое – Падун!

– Што...

– И Расея – твои берега! И тайга – горностай у тебя на плечах! И не все переходят тебя со благополучием, не всякий дощеник! Кто и разбивает о тя крепкий лоб! Кто в воде твоей, богато-сребряной, жемчужной, тонет навек! Не выплывет! Рыбой станет! Посреди реки царишь! Камнем торчишь! С места не двинешься! Царская власть крепка! Да наступит час – свалишься с трона... вижу, вижу! Дождь и снег! И потоки хладные! Река безумствует! Это ты, Царь, яришься! Не знаешь, как безвинных погубить! Да помогают тебе ветр, тучи и метели, и гнус жестокий, и слуги твои, клыкастые хищные звери!

Молчание сковало мразом уста. Я понял: конец мне пришёл, и, даже если то сон ужасный, он наверняка сбудется. А ежели то не сон – сколь же времени я пребывал во тьме, до перевитых в плоти жил да сухожилий избитый, измочаленный?

– Жёнка твоя красою не обделена, даром што крестьянка простая. Отдашь мне ея, протопоп? Легла на сердце мне она, горячо легла, обожгла. С детями – беру! Разженюсь – из-за нея! А тебе выкуп богатый дам. Не пожалеешь!

Слушал, будьто псалом Давыдов вдругорядь извратили, дощеник крепкий издырявили да страшным пустым гробом по сиротьей реке пустили. И плывёт покаместь, да вот-вот потопнет.

Покосился на Патриарха. И, о ужас! увидал, как Патриарх – смеется! Ухмыляется! Над кем смеется? Над Царем Алексием Михайлычем? Надо мной? Да хоть бы и надо мной! Я – стерплю! Да как же оно... Бить Настасью велел, а тут же – и обласкать грозится, и отнять ея у мя хощет, и возжениться на ней мя вместо?

– Выкуп...

– Да, протопоп! Царский! Повелю тебя возвернуть из Сибири на веки вечные! Дам приход новый, али под Москвою, али под Вологдой, али, может, в Новегороде Нижнем! Времена сместятся. Не изловишь, как изломятся – да сдвинутся! Из старика – во вьюныша обратишься. Бог наш чудеса творит! Знай лишь Ему молись! Лбом об пол бей!

Царь глядел на мя, а я глядел на Патриарха.

Крикнул я Царю, да прямо в лице ево владычное:

– Эгей, Царь-батюшка! А зачем таков раскол учиняешь семейству доброму, благочинному! Пошто колешь-рубишь надвое, да без возврата! Настасью штобы взять?! Да уничтожь мя тогда без следа! Убей! Казни! Лучше смерть, чем раскол! Лучше – тьма! Всё одно потом народы из гробов восстанут! И праведники воскреснут – к свету многозвёздному! А грешники в Геенну огненную низвергнутся! Эдак-то вернее будет! Всё честнее!

Побелел лицем Царь. А ко мне шаг шагнул Патриарх.

– Аввакум...

– Што, твое святейшество?! Што произнесть хошь?!

– Аввакум...

– Што, Никон?! Забыл, каково рыбку-то вместе ловили в Сундовике?!

И так заплескалась у мя пред очами та рыбка! Мелкая уклейка, вьюны полосатые, усатые, в черным-чёрной, да на диво прозрачной воде! Вода как угольная слюда, а речонка быстрая, да заводи в ней, иной раз множество рыбы удой натаскаем, на кукан насадим, домой бежим босые, рыбёшка на вервии за спиной болтается: глядите, люди, каков улов богатый! И Исус со товарищи рыбку в Геннисаретском озере ловил... Пётр рыбу ту сетями в лодью выгребал... а мы, детишки, – с куканом... и тёплая вода с рыбьих хвостов каплет, по спине течёт, по хребту, по рубахе...

Пётр, батюшко мой...

Рыбалка твоя...

Царский глас громом над головой прогремел:

– Ежели я – порог, то Никон Патриарх – твой острог! Зеницы-то разлепи! Оглядися! Себя в чужих зраках – узри!

И вижу, как Никон обращается, медленно и страшно, в древняный громадный сруб; што за брёвна великанские, может, и лиственница, прочна-железна, тюрьма навек, сгинет тут всяк человек, и я внутри сруба, и подо мною соломы пук, солома шуршит, я пить хочу, пить, и боле ничево, и глас со верху, ровно с матицы: ОСТРОГЪ ГОСПОДЬ СТРОГЪ НЕ ПУСТИТЪ И ЗА ПОРОГЪ

А потом ищо хрипенье, ужасное пенье: ТО БРАЦКЪ СИДЕТИ ТЕБЕ ТУТЪ ДО ФИЛИППОВА ПОСТА А ВРЕМЯ ПОТЕЧЁТЪ ЗА ВЕРСТОЮ ВЕРСТА НИ КРЕСТА НИ ЧЕРТА

Мыши... тараканы... ночию – холод лютый, инда на снегу, на ветру голяком сижу... а спать-то охота, а без тепла-то и не уснёшь... Стал худой, вострый, будьто нож. На кочерьгу похож. На руки-ноги свои глядел: пальцы белые, што мел, из-под тощей кожи колена торчат – таковыми костями лишь насытить малых волчат... Мыши, мыши... я сапогом их бил. А потом над мёртвою мышью, яко робёнок, трясся-плакал, я-то зверьё живое любил, а потом в нея, ищо теплую, в загривок ей зубы запускал... блевал, а жрал... не было зерцал, штоб свой увидать зверий оскал... Вши, блохи... иная насекомая тварь... захлопнул терпенье, како рыночный ларь... И всё себя, грешнаго, вопрошал: где сон мой, где явь... начало начал... Где детки мои, доченька да сынки... где зрячии их зрачки... на расстояньи руки... Ко мне сын кулачком в дверь тихо стучал... а я-то в кандалах... сруб заместо зерцал... пальцы вместо свечей... подниму – инда горят... озираю свой бархатный, мышиный наряд... худые лытки... с миру по нитке... Брацкой острог... чужие льдины плывут из-под ног... уплывают, уходят из-под кромешных ступней... жить бы да жить на свете, да не сыскать огней... што путь-дорогу укажут во мгле... да не надо мне в небесех... мне бы – тут, на земле... А где ты, Настасьюшка, у коей бабы чужой... приживалкой... ухватом... подпоркой-клюкой... хоть чем дитяток корми, да штоб не помёрли они... крестом Христовым в наш вечный мороз – их да осени...